



# Познание и язык

*И.Т. КАСАВИН*



Формирование неклассической эпистемологии характеризуется среди прочего ориентацией на опыт гуманитарных наук в отличие от эпистемологической классики, вырвавшейся на осмыслении естественно-научного знания. Последние 30 лет особое внимание философов фокусируется на теме «Познание и язык», которая грозит даже поглотить всю эпистемологическую проблематику. Заслуживает сожаления, что при этом философский дискурс нередко строится почти исключительно вокруг трудов постмодернистских или аналитических авторов и не обращается к исходной предметности, представленной в специальных науках о языке. Нелишне, однако, напомнить, что лингвофилософские понятия и проблемы, из которых выростал, в частности, постмодернизм в процессе лингвистического поворота, формулируются, по-видимому, в весьма узком тематическом поле и только затем получают обобщенное истолкование в контексте традиционных философских



дискуссий о природе субъекта познания, о механизмах сознания и познания, о сущности культуры. Это в полной мере относится к достаточно специальным понятиям «дискурс», «текст» и «контекст», которые сегодня активно вводятся в собственно философско-эпистемологический оборот. Трансформация предметного поля и методологического инструментария классической теории познания, формирование неклассических подходов в эпистемологии выступают необходимым фоном подобного рода процессов<sup>1</sup>.

Полюса философии языка представлены в аналитической и постмодернистской концепциях. Так, Джон Серл, продолжая традицию, восходящую к Б. Расселу, при анализе понятия значения фактически сохраняет элементы субстанциалистского, или абсолютистского, взгляда на язык. Он разбивает процесс использования языка для обозначения предметов внешнего мира на две стадии – первичного произвольного определения терминов («кошка» и «когти») и конструирования из них предложения («у кошки есть когти»), которое находится в определенном соответствии с реальностью. «Как только мы зафиксировали значение таких терминов в нашем словаре с помощью произвольных дефиниций, вопрос о том, удовлетворяют ли этим дефинициям независимые от интерпретации свойства мира, утрачивает всякую релятивность или произвольность, поскольку свойства мира, которые соответствуют или не соответствуют дефинициям, существуют независимо от них... это уже просто абсолютное, самодостаточное (intrinsic), независимое от сознания положение дел»<sup>2</sup>. Однако выделяемые Серлом стадии в реальности не могут быть изолированы друг от друга, это чересчур сильная абстракция. Определение понятий и их использование в естественном языке находятся в нерасторжимом единстве. Переопределение понятий происходит постоянно в новых ситуациях использования, а прошлые ситуации не детерминируют смысл слова однозначно применительно к будущим ситуациям. И даже история науки дает достаточно примеров «дрейфа значе-

<sup>1</sup> Осмысление современного естествознания, впрочем, также может осуществляться с неклассических позиций, однако это требует критического отношения к некоторым устоявшимся положениям классической эпистемологии. По поводу неклассической эпистемологии см.: *Касавин И.Т.* Миграция. Креативность. Текст. Проблемы неклассической теории познания. СПб., 1999; *Стетин В.С.* Теоретическое знание. М., 2000; *Лекторский В.А.* Эпистемология классическая и неклассическая. М., 2001; *Мукешина Л.А.* Философия познания. Полемиические главы. М., 2002; *Sandkühler H.J.* Die Wirklichkeit des Wissens Frankfurt a. Main, 1991; *Poser H.* Wissenschaftstheorie. Eine philosophische Einführung. Philipp Reclam, 2001.

<sup>2</sup> *Searle J.* The Construction of Social Reality. L., 1995. P. 166.



ний», который не может быть спрогнозирован и заранее учтен. «Идея значений, фиксированных еще до их актуального применения, есть миф, внутренне присущий теории Серла, – отмечает Д. Блур. – Здесь тайны абсолюта тончайшим образом встраиваются в изложение. Здесь обнаруживает себя метафизическая, а вовсе не натуралистическая концепция значения»<sup>3</sup>.

И напротив, крайний вариант лингвистического функционализма мы находим у Жака Деррида в его понятии «écriture»<sup>4</sup> (письменности, письма). Это нечто вроде квазитрансцендентальной метафоры, которая вмещает в себя язык, все знаковые порядки и артикулирует все формы коммуникации и весь опыт бытия. Как мне представляется, тем самым происходит переворачивание реальной ситуации в угоду желанной простоте лингвистического описания. На фоне этого понятия все факторы, выделяемые традиционными теориями контекста (Х.Г. Гадамера и Дж. Остина в первую очередь) и детерминирующие смысл и понимание, объявляются недействительными, а к ним относятся коммуницирующие субъекты, используемые ими средства выражения и ситуация, в которой разворачивается коммуникация. Тем самым онтологические, гносеологические и лингвистические дихотомии нивелируются и проецируются в одну плоскость. Язык и референт, субъект и объект, код и послание располагаются отныне не в разных измерениях, но включаются в «бесконечную игру дифференций», в которой весь мир становится текстом. Будучи встроены в эту игру, текст и контекст постоянно входят в новые отношения и корреляции, которые ставят перед интерпретатором не просто лишь «аппроксимативно решаемую» (Гадамер), но в принципе неразрешимую задачу. Не герменевтическая «предварительность понимания», но радикальный контекстуализм, бесконечный регресс интерпретации – вот теоретический итог рассуждений Деррида.

Однако подлинная тайна аналитической философии языка и постмодернизма состоит в том, что такого рода рассуждения не бессмысленны, как полагают многие критики, оценивающие сами проблемы и исходные пункты этих дискурсов как малозначимые вообще. Ведь их неоспоримым позитивным результатом является именно резкая поляризация методологических позиций, которая делает возможной панорамную прозрачность ситуации. Благодаря этому выясняется, что язык

<sup>3</sup> Bloor D. Epistemic Grace: Antirelativism as Theology in Disguise // Common Knowledge. 2007. V. 13, issues 2–3. P. 28.

<sup>4</sup> Derrida J. Marges de la philosophie. P., 1972. P. 365–393; Он же. Guter Wille zur Macht (I) // Text und Interpretation; P. Forget (Hrsg.). München, 1984. S. 57.



*в форме текста никогда не поглощает окончательно внеязыковые контексты, хотя потенциально способен делать это все с большей полнотой, всякий раз обнаруживая за своими пределами расширяющееся пространство бытия. Не сходным ли образом разворачивается и процесс познания в целом?*

**Язык и речь: грани смысла.** В гуманитарных науках трудно обнаружить парадигмы в смысле Т. Куна. И все же едва ли можно отрицать глобальное значение для теории и философии языка двух концепций, появившихся в начале XX в. Их авторами были Ф. Соссюр и Г. Фреге (а впоследствии Л. Витгенштейн), и главные моменты сходства их учений можно суммировать так. Во-первых, это стремление говорить о языке в точных или даже научных терминах; во-вторых, ориентация на логику как идеал языка и отказ от психологических и социологических объяснений; в-третьих, рассмотрение языка как системы, в принципе разложимой на более простые элементы; в-четвертых, ограничение всего рассмотрения системой языка как самодостаточной, как основы для объяснения наличного многообразия языковых феноменов. Пусть этим далеко не исчерпывается ни «Логико-философский трактат» Витгенштейна, ни «Курс общей лингвистики» Соссюра, однако именно данные (и, быть может, еще некоторые немногие) положения обеих концепций оказались востребованы в классической философии языка XX в. В дальнейшем две традиции – аналитическая и герменевтическая – пытались отвечать с переменным успехом на ключевые вопросы о соотношениях языка и реальности, смысле, значении и понимании языковых феноменов, актуализируя наследие Г. Фреге и Ф. Шлейермахера. В лингвистике возникли новые направления (прагматика, функциональная лингвистика, лингвистика текста, дискурс-анализ), а аналитическая философия вслед за поздним Витгенштейном далеко ушла от ригоризма и панлогизма «Трактата».

Так, Витгенштейн в «Философских исследованиях» провозглашает самодостаточность языка по отношению к ментальным состояниям и одновременно его зависимость от деятельности. В деятельности возникает потребность не только манипулировать с вещами, но и делать это в синхронной и диахронной координации с другими людьми. В принципе можно было бы вообще не употреблять языка, а носить с собой вещи, как делали мудрецы в утопии Дж. Свифта «Путешествие в Лапуту». Однако это не только практически трудно, но и вообще не позволяет осуществлять сложные виды деятельности, предполагающие планирование, конструирова-



ние, изменение вещи по замыслу. В деятельности, дабы в большей степени овладеть предметами, создавать, использовать и понять их, человек стремится к свободе оперирования с вещами и отношениями, он нуждается в свободе от вещей. Язык – форма освобождения от мира средствами этого мира, создание искусственных предметов с заданными свойствами. Для измерения палки нужна линейка. Для взвешивания камня нужна гиря. Для работы с линейкой и гирей нужны меры измерения длины и веса – слова и понятия. Слова – образцы возможных действий с предметами, идеальные схемы, носители значения, смысла. «Там, где наш язык позволяет нам предположить наличие некоторого тела, а никакого тела нет, – там, склонны мы говорить, имеется дух»<sup>5</sup>, – замечает в этой связи Витгенштейн. Процедура именования недаром издавна имела сакральный характер, а имя рассматривалось как неотъемлемое и важнейшее свойство вещи, в некотором смысле как ее архетип. Иронически отзываясь об этой «магии языка», Витгенштейн обнаруживает ее истоки в дополнительности языка и мышления. Речь опережает мысль и делает ее ненужной, а мышление тормозит речевой акт, поскольку может иметь своим предметом только остановленное слово. На аналогичную разнонаправленность языка и мышления в онтогенезе указывал Л.С. Выготский<sup>6</sup>. А вот еще одна цитата из Витгенштейна: «Это связано с пониманием именования как некоторого, так сказать, оккультного процесса. Именование выступает как таинственная связь слова с предметом. И такая таинственная связь действительно имеет место, а именно, когда философ, пытаясь выявить соотношение между именем и именуемым, пристально вглядывается в предмет перед собой и при этом бесчисленное множество раз повторяется некоторое имя, а иногда также слово *это*. Ибо философские проблемы возникают тогда, когда язык *бездействует*»<sup>7</sup>.

Мы не станем предпринимать критический обзор разных концепций философии языка<sup>8</sup>; обратимся лишь к авторам, с самого начала рассматривавшим язык преимущественно как социокультурное явление, и тем самым минуем мучительные поиски ведущих направлений философии языка, которым предстояло увенчаться именно этим результатом.

<sup>5</sup> Витгенштейн Л. Философские исследования // Новое в зарубежной лингвистике. М., 1985. С. 95.

<sup>6</sup> См.: Выготский Л.С. Собр. соч. В 6 т. Т. 3. М., 1983. С. 262.

<sup>7</sup> Витгенштейн Л. Указ. соч. С. 95–96.

<sup>8</sup> См., например: Огурцов А.П. Философия языка // Новая философская энциклопедия. М., 2001.



**От социума к языку.** Английский ученый Б. Бернстайн, один из основателей социолингвистики, исходит из тезиса, что язык следует рассматривать с точки зрения тех функций, которые он выполняет как средство человеческой коммуникации в определенном социальном контексте<sup>9</sup>. Он описывает два основных типа языковой коммуникации как два лингвистических кода: *ограниченный* и *разработанный*. Их различие обусловлено отнесенностью к социальному контексту их избрания и использования. Поскольку обобщения Бернстайна есть результат его изучения процессов воспитания и обучения, то и примеры он черпает из этой области. В данном случае он обращается к процедурам семейного контроля через язык, и примером ограниченного кода служат рабочие и аристократические семьи. Так, ограниченный код характеризуется выбором из малого количества строго связанных альтернатив и глубокой укорененностью в непосредственной социальной структуре. Утверждения в рамках этого кода имеют двойную функцию: они содержат информацию и выражают, поддерживают социальную структуру, причем структура доминирует над информацией. Невысокая сложность социальной матрицы обуславливает комплексность роли субъекта, принимающего решение, а это в свою очередь позволяет сохранять имплицитность коммуникации.

Схема Бернстайна предполагает выделение по крайней мере четырех основных эпистемических групп (А, В, С, D). Так, языковое поведение в рамках группы А осуществляется в условиях тотального господства социума над личностью, индивид растворен в группе и черпает ресурсы деятельности и мышления исключительно из непосредственного окружения. При этом жесткость групповой структуры сама отражает привязанность к неизменной экологической нише. Здесь процесс адаптации как бы завершился на некотором оптимальном уровне, а риск неудачи при освоении другого окружения слишком высок. Поэтому задача воспитания и образования сводится здесь к тому, чтобы ребенок усвоил традиционные ценности и знания, которые делают его частью группы и опорой социального порядка, позволяющего существовать в известном окружении. Это своего рода простое воспроизведение элемента структуры ею самой, успешность которого оценивается по степени освоения ребенком социального ритуала. Всякая девиация не просто отбрасывается, она не

<sup>9</sup> *Bernstein B. Linguistic Codes, Hesitation Phenomena and Intelligence // Language & Speech. 1962. V. 5, No 1. P. 31–46.*



замечается или воспринимается как нечто абсолютно чуждое. Воспитание осуществляется стихийно, только процедура экзамена является элементом социальной структуры. Это соответствует тому, что нам известно о первобытных обществах оседлого типа, сохранившихся до наших дней (австралийские бушмены, африканские пигмеи).

Языковое поведение в группе В также достаточно жестко увязано с социальной структурой, именно по отношению к ней определяются приоритеты и грехи индивида, понятие роли и доминирование общества над личностью обуславливает деятельность и поведение. Но здесь уже возникает в некоторой негативной форме представление об индивиде как «аномалии, принимаемой всерьез», как некотором зле, являющемся неудобным и все же неизбежным элементом самого общества. Так, понятия истины и долга необходимо включают самоопределение человека по отношению к социальным ценностям и процедурам их применения. Для индивида становится важной его собственная самооценка применительно к требованиям социума, а не только решение коллектива. Субъект овладевает техникой внутреннего диалога и получает известную свободу выбора в рамках легитимированных социальных ролей. Общественное давление частично высвобождается из подсознания и становится более явным, внутренне структурированным. В связи с этим воспитание начинает осуществляться отчасти с помощью разработанного лингвистического кода, хотя и сохраняет позиционные (социально-структурные) ориентиры.

Во-первых, возникает система воспитания и обучения, охватывающая весь процесс взросления и социально легитимирующая отмеченный выше феномен продленного детства. Во-вторых, приобщение к социальным стандартам теперь уже не исчерпывается знакомством с рецептами поведения, но включает их проговаривание в форме некоторой риторики. В-третьих, функции социальной структуры не сводятся к печатанию своих частей, но направлены на удержание субъекта от неправильных действий в условиях изменяющегося окружения (табу). В-четвертых, языковое поведение не просто надстраивается над известной социальной структурой как ее выражение и поддержка, но начинает выполнять функцию адаптации этой структуры в условиях меняющегося мира, хотя принципиальный примат социума над индивидом не ставится под вопрос. Переход из группы А в группу В характеризует, таким образом, трансформацию первобытного стада в родоплеменное общество.

Итак, Бернстайн впервые предложил программу исследования языка как функции социальной общности. Примерно в



то же время М.К. Петров сформулировал понятие языка как «социокода»<sup>10</sup>. И в том и в другом случае ключ к анализу и пониманию языковых феноменов должен быть найден в процессе историко-социологического исследования.

**От языка к социуму.** Иной способ понимания связи языка и социальной реальности предлагает традиция, идущая от Э. Сепира и Б. Уорфа, Л. Витгенштейна и М. Хайдеггера. Здесь границы языка определяют границы мира: онтология есть функция грамматики, лексики и прагматики. Не повторяя того, что хорошо известно по поводу тезисов лингвистической и онтологической относительности, мы обратимся к авторам, которые своей литературной практикой иллюстрируют это понимание языка.

Х.Л. Борхес – один из тех, кто направляет свое внимание на функционирование языка в рамках уже известной нам группы А. Его влечет к себе та сила, которая исходит от книги и захватывает собой окружающую действительность. Магия языка, власть автора над читателем и право читателя творить с помощью книги собственный мир – это как раз то, что обнаруживает социальную природу знаково-семантической реальности. Так, Борхес, размышляя о романе Сервантеса «Дон Кихот», обнаруживает любопытное обстоятельство: это роман о книгах, о читателе; о том, как книга структурирует мир человека, принявшего ее всерьез. Самое важное, что было в жизни Алонсо Кихано, – книги, это первое, что мы узнаем о главном герое. Рыцарские романы, говорящие об ушедшей эпохе, присутствуют в тексте настолько реально, что начинают определять реальность за пределами текста. И чуть ниже Борхес высказывается о вере и воображении как путях, приближающих к истине. Способность верить в воображение других людей, тех, кто учит нас умению вымысла, есть даже большее – это один из путей спасения<sup>11</sup>. Здесь речь о том, что чтение, принятие текста всерьез представляет собой возвышающее человека приобщение к культуре. Примерно об этом же пишет И. Бродский, характеризуя поэта: его отличает способность впасть в зависимость от чужих слов, чужих размеров. Власть языка рассматривается им как основа культурной преемственности; усвоение развитых форм речи – как основа социальной свободы. Язык для Бродского первичен, поэт представляет лишь способ реализации языка, лингвистический контекст определяет социальный, а никак не наоборот.

<sup>10</sup> См.: Петров М.К. Язык, знак, культура. М., 1991.

<sup>11</sup> См.: Борхес Х.Л., Феррари О. Новая встреча. Неизданные беседы. М., 2004. С. 222.



Чтение и письмо представляются Борхесом в качестве своеобразных игр со временем и пространством, особых типов путешествия и приключения. Пространство – область литературного творчества, умножения реальностей; время – сфера книжной культуры, форма приобщения к классическим текстам. В сфере времени индивидуальная свобода претерпевает существенные ограничения. Путешествия во времени ведут за пределы пространственной сферы. Здесь Борхес поднимается от стола и направляется в библиотеку, руководствуясь не стремлением разнообразить, множить реальности, но потребностью приобщиться к миру и даже слепо раствориться в нем, независимом от Борхеса. Если в сфере пространства он – кочевник-завоеватель, «покоритель земель», то здесь, в библиотеке, царстве времени он – оседлый земле- или архивопашец, «служитель почвы», следующий не творческому произволу, а властвующим над ним схемам культурного родства.

На пути от мира к языку автор заканчивает путешествие во времени, вновь отправляясь в пространственное путешествие. Из библиотеки – сферы вторичных текстов и объективного знания, в которой субъект творчества разыгрывает социальные роли, – Борхес возвращается к письменному столу. И именно посередине между ними разворачивается неуловимый процесс творчества.

**Язык и время.** Движение от языка к социуму и обратно, смена лингвистических кодов как переход из одной эпистемической группы в другую, переводы с одного языка на другой – эти и другие актуальные для философии языка явления могут быть рассмотрены сквозь призму всего трех понятий – текста, дискурса и контекста. Текст, являясь собственно языковой реальностью, существует как смысловая единица только в определенном внеязыковом окружении – контексте, который находит выражение в тексте при посредстве живой знаково-эпистемической деятельности, или дискурса. Последний немислим вне текста и контекста, а контекст остается безгласным и бесчеловечным вне дискурса и текста. Однако эти отношения не исчерпываются специфической пространственной синхронностью, но характеризуются и особой динамикой, темпом и ритмом, иначе говоря, темпоральностью<sup>12</sup>. В данном случае мы обращаемся к той синтетической способности феномена

<sup>12</sup> См.: *Касавин И.Т.* И неповинной главе... Вместо введения // Наказание временем. Философские идеи в современной русской литературе. М., 1992; *Он же.* Время // Философия. Энциклопедический словарь; под ред. А.А. Ивина. М., 2004.



времени, которая позволяет свести воедино понятия текста, дискурса и контекста.

Так, *контекст выражает собой отнесение текста к его истокам* и внимание к контексту есть интерес к истории языка. Здесь анализ в наибольшей степени обретает научный характер, поскольку контекст, который во многом ушел в прошлое, более доступен теоретическому познанию в силу дистанции текста от условий своего формирования. Прошлое, зафиксированное в контексте, с одной стороны, обретает прозрачность, а с другой – окружено облаком интерпретаций, являющихся значимыми теоретическими ресурсами. Контекст, будучи во многом внеязыковым феноменом, позволяет дополнить лингвистический анализ языка социологическим, историческим и этнографическим исследованием. Однако контекст как выражение прошлого языкового опыта уже не обеспечивает непосредственности переживания, которой обладает актуально практикуемый дискурс и которую некоторое время еще хранит только что возникший текст. Жизненные смыслы отфильтровываются из текста по мере его использования в иных контекстах и вообще деконтекстуализации и универсализации текста.

Текст, возникая в локальной социокультурной ситуации, может быть артикулирован, дискурсивно обыгран в разных ситуациях и культурах и порой обретает способность служить архетипом. Архетип представляет собой форму социальной памяти о прошлой высокой суггестивности текста и символизирует собой переход от внутреннего производства к внешнему использованию смыслов; это классический текст, применяемый в новом контексте, переносящий смыслы из прошлого в настоящее. Текст иерархизирует свои контексты, сливаясь по времени с лингвистическим контекстом, дистанцируясь от контекста ситуации и приобретая относительную самостоятельность от культурного контекста. Время боготворит язык, будет повторять И. Бродский, имея в виду, что язык, свободно путешествуя по культуре, обеспечивает ее единство. Восстановление разрыва между текстом и ситуацией требует уже герменевтической работы, а утрата лингвистического контекста оказывается почти непреодолимой преградой для понимания. В дальнейшем *текст фиксирует прошлое как устойчивая форма языка, определяемая совокупностью контекстов, и обуславливает будущее, выступая исходным пунктом всякого дискурса.*

*Дискурс выражает отнесенность текста к его перспективе.* В дискурсе впервые набрасывается схема будущего текста и задаются его контекстуальные координаты – лингвистические, ситуационные, культурные. Ограниченность теоретического



анализа дискурса вытекает из ограниченности прогностической познавательной способности. Особенная сложность концептуальной фиксации дискурсивных элементов обусловлена тем, что здесь текст еще слит с условиями своего формирования. Дискурс, будучи основан на прошлом языковом опыте, представляет собой в первую очередь проектирование будущего опыта на материале непосредственно переживаемой языковой коммуникации. Дискурс переносит прошлый опыт в будущее по мере того, как в нем выстраивается настоящее, порывающее с прошлым. Неустойчивость дискурса как формы незаконченного текста определяется его способностью затемнять, мистифицировать, деконструировать свои контексты, изменять их смысл и значение. Выразительность диалогов и вообще прямой речи у Ф.М. Достоевского – редкий пример удачной фиксации дискурса, полифония которого при этом отпугивает своей непонятностью и порождает двойников. Однако это – единственный способ актуализировать тексты и контексты, вдохнуть в них новую жизнь и придать им смысл заново.

**Итоги.** Понимать философию языка исключительно в узком смысле как ограниченную некоторыми школами современной аналитической или постмодернистской традиции было бы и забвением фактического положения дел, и сужением теоретической перспективы. Аналитической философии языка еще предстоит смягчить формалистский эзотеризм и раскрыть свое широкое философское содержание, в частности путем «обмена опытом» с другими философскими направлениями. Тому, что аналитики именуют значением, языковой игрой, онтологией, соответствуют в функциональной лингвистике понятия «текст», «контекст» и «дискурс». Постструктуралистский аналог того же самого – эпистема, дискурс, архив. Это же может быть поставлено в соответствие известной феноменолого-герменевтической триаде тема–горизонт–схема<sup>13</sup> (здесь же и триада нозма–ноэзис–жизненный мир). В философии науки примерно ту же функцию выполняют понятия теории, метода и предпосылочного знания, а в философии вообще – понятия сознания, деятельности и общения. Знаменитый тезис о тождестве бытия и мышления может быть в связи с этим интерпретирован как единство языка и мира.

Вернуть мир языку, а язык – миру и есть главная задача современной эпистемологии и философии языка.

<sup>13</sup> См.: *Leithäuser Th. usw. Entwurf zu einer Empirie des Alltagsbewusstseines*. Frankfurt am Main, 1977. S. 46.